

## Разрывы и связи.

Почему? говоритъ Господь Воинствъ. Потому, что домъ Мой въ запустѣннн. а вы спѣшите каждый въ домъ свой.

Агг. I. 10.

И нынѣ прости Ты грѣхъ ихъ. А если нѣтъ, то изгладь и меня изъ книги Твоей, которую Ты написалъ.

Исх. XXXII. 32.

Долгіе годы „революція“ была русскимъ идеаломъ. Образъ „революціонера“ казался общественному сознанию высшимъ типомъ патріота, совмѣщавшимъ въ себѣ возвышенность стремленій, любовь къ народу, къ обездоленнымъ и страждущимъ, и готовность жертвеннаго самозакланія на алтарѣ всеобщаго счастья. Какое-бы разное, — отъ монархическаго до анархическаго, — содержаніе ни вкладывали разные люди въ эти понятія, — всѣ они сходились въ одномъ — въ вѣрѣ въ то, что организованная общественность, здравый ли смыслъ народа, беззавѣтная ли отвага „умирающихъ за великое дѣло любви“ въ силахъ и смогутъ напряженіемъ своей воли разорвать петли опутавшаго Россію социальнаго и политическаго зла и утвердить высшую и совершенную форму культурно-общественнаго бытія. Въ этой вѣрѣ въ самихъ себя, въ побѣдительную сущность своего внутренняго существа, въ исконную благость своего внутренняго содержанія совпадали всѣ отъ завзятыхъ циммервальдистовъ до безразсудныхъ реакціонеровъ. Одни считали, что необходимо и достаточно замаскироваться и перерядиться по-„европейски“, другіе — содрать съ себя наскоро наброшенную западную одежду, третьи — совершить классовую перегруппировку. Споры шли о томъ, кто — истинный народъ, но „народниками“ въ глубинѣ были почти всѣ: всѣ вѣровали въ мессіанское призваніе всего народа или какой нибудь части его. Всѣмъ болѣе или менѣе была близка „молитва“ Горькаго: „Я видѣлъ всесильный и без-

смертный народъ . . . и я молился: Ты еси Богъ, да не будутъ міру бози иніи развѣ Тебе, ибо Ты еси единъ Богъ, творяй чудеса" . . .

И въ этомъ настроеніи мы встрѣтили и „пріяли“ войну, умѣщая ее въ благодушныя рамки утопическаго, „прогрессивнаго“ оптимизма. Человѣконенавистничество и братоубійство было воспринято подъ знакомъ „наибольшаго счастья наибольшаго числа людей“ и загадочная противорѣчивость заданія — цѣною тысячъ убійствъ и тысячъ смертей покупать и обезпечивать другія тысячи жизней — прикрывалась гипнотизирующими словами о томъ, что это — послѣдняя война, война за миръ, за „всеобщее разоруженіе,“ внутреннее преодолѣніе — самоисчерпаніе воинственности. Острота моральнаго надрыва, — чрезъ который долженъ пройти всякій, поднимающій мечъ, — смягчалась перенесеніемъ вопроса въ плоскость формальнаго долга — передъ родиной и единоплеменниками, передъ благомъ человѣчества и цивилизаціей. И вѣрилось, что „крестъ и мечъ — одно“, что за обнаженіемъ звѣриныхъ стихійъ человѣческой жизни магически наступитъ ихъ просвѣтленіе, и послѣ войны настанетъ блаженная пора „вѣчнаго мира“. . . Люди сами сдѣлаютъ себя настолько совершенными, чтобы было возможно перековать мечи на орала. И за эту манящую мечту люди радостно шли — убивать и умирать. . .

Во имя ея звучали восторженные гимны „великодушной и милосердной революціи“ четыре года тому назадъ. И когда изъ-за ея знакомаго по легендѣ и дорогаго по преданію „безкровнаго“ образа стали нагло вычерчиваться среди угарно-черныхъ и блуждающихъ клубовъ разгоравшейся катастрофы бѣсовскія черты нарастающаго развала, когда подъ розовѣющей дымкою воочію сталъ „хаосъ шевелиться“ — недоумѣвающая мысль заговорила о чьихъ-то ошибкахъ и просчетахъ, о преждевременности, объ опозданіи, о смутности идеи, о невѣжествѣ массъ, не теряя вѣры въ то, что исправленіе легко и возможно. И словно ради самозащиты, конвергировала свои взоры на житейскихъ дрязгахъ, на всевозможныхъ кризисахъ, отъ продовольственнаго до бумажнаго, лишь бы не увидѣть всеобъемлющаго ужаснаго срыва въ бездонность, срыва души и тѣла.

Туда, гдѣ смертей и болѣзней  
Лихая прошла колея —  
Исчезни въ пространство, исчезни,  
Россія, Россія моя . . .

И Россія исчезла. . . Исчезла не только русская „государственность,“ не только наслѣдственный бытъ, — распалось національное единство, распались всѣ соціальныя скрѣпы, и въ сознаниі произошло, какъ древле у Вавилонской башни, смѣшеніе языковъ. Въ стремнины историческаго водоворота вовлечено все то, чѣмъ Россія становилась вѣками, все то, чѣмъ Она была, когда мы впервые начинали Ее любить, хотя и „странною любовью.“

И вглядываясь въ подернутыя мудрою усмѣшкою уста замолкшаго „русскаго сфинкса,“ мы вдругъ, неожиданно для себя самихъ, прозрѣваемъ омерзительный образъ „чудища обла, озорна, стозѣвна и лайя“ и, — что всего ужаснѣе, — узнаемъ въ немъ сгущеніе нашихъ собственныхъ, старинныхъ, прадѣдовскихъ упованій. И чѣмъ дальше смотримся мы въ страшную загадку, тѣмъ ярче чувствуемъ, что и надъ нашей душою эти старыя грезы не потеряли еще власти, что и мы еще вѣримъ, хотимъ вѣрить, въ „благополучный исходъ,“ въ „естественное теченіе вещей,“ въ созидательную мощь высокихъ идеаловъ.

Въ великомъ катаклизмѣ разверзлись всѣ трещины и щели, первозданная порода вынесены на поверхность, глубины обнажились. . . Мы ощутили раздвоенность русской національной стихіи. И узрѣли Россію стоящей

у перепутнаго креста,  
ни Звѣря скиптръ нести не смѣя,  
ни иго легкое Христа.

И мы увидѣли, что любимъ Россію именно за эту ея двухликость, за ея безкрайность, въ которой сочетаются двѣ бездны — вверху и внизу. И атавистически зачарованные напряженіемъ ярыхъ силъ, стихійнымъ размахомъ, мы снова грезимъ о силѣ и славлѣ, . . . силѣ и славлѣ человѣческихъ.

И въ томъ — правда, что „исчезнувшая“ Россія сильнѣе и пророчественнѣе стоящаго и устоявшаго Запада. Но эта правда отрицанія не выкупаетъ возможной лживости утвержденія. Какъ разъ обратное розовому оптимизму автора „Теодицеи“: всѣ правы въ томъ, что утверждаютъ, и ошибаются лишь въ отрицаніяхъ — такъ говорить могъ лишь тотъ, кто вѣрилъ въ свое всемогущество, въ свою прирожденную благодать, для кого зло — ошибка, а не грѣхъ. — Конечно, революціи никто не „дѣлалъ,“ и никто въ ней, въ ея ужасѣ, въ ея горѣ не виноватъ. Она сдѣлалась сама, родилась неотразимо, какъ итогъ всего предшествующаго русскаго историческаго процесса. Въ революціи все неотвратимо, все запечат-

лѣно знаменіемъ Рока. Но изъ чего выросла она: изъ благихъ ли, священныхъ, вѣчныхъ, святыхъ стихій нашего народа, изъ его „идеи,“ изъ того, „что о немъ Богъ думалъ въ вѣчности,“ или изъ духовной лжи, искривленности, положенной въ основу нашего историческаго существованія волею человѣческой? . . . .

Прошлое мы поймемъ, и станемъ достойны будущаго, только тогда, когда оно станетъ для насъ не сладостной надеждой, а долгомъ, когда упованія переродятся въ жажду подвига, когда сгущенная, почти апокалиптическая атмосфера нашихъ дней прольетъ въ нашу душу струи подлиннаго религіознаго пагоса, „страха Божія,“ — когда за коллизіями конечной воли человѣческой со слѣпыми fata „великаго Безликаго Ничто“ мы постигнемъ христіанскую трагичность внутренняго раздвоенія: я дѣлаю не то доброе, что хочу, но то злое, чего не хочу. . . . Когда поймемъ, что лишь

у Творца Владыки  
вѣчное забвеніе  
всѣхъ земныхъ страданій. . .

Рѣчь идетъ не о „покаяніи.“ Каялись въ Россіи много, очень много, слишкомъ даже много и обильно. И покаяніе успѣло настолько стать привычнымъ, чтобы сдѣлаться позой, карриатурой, превратиться въ горделивое самоуничженіе, въ эту самую изысканную и утонченную форму прелести духовной. Не тяжелымъ подвигомъ благодатнаго перерожденія, а стилизованнымъ настроеніемъ стало для насъ подсчитываніе и всенародное исповѣдываніе своихъ, — а за одно и чужихъ, — грѣховъ; а добрыя дѣла, достойныя покаянія, замѣнялись перенапряженіемъ самобичующаго и самообличающаго голоса. — Не о счетѣ грѣховъ идетъ теперь рѣчь, а о томъ, чтобы ужаснуться передъ лицомъ происходящаго, почувствовать всю двоящуюся загадочность бытія, прозрѣть реальность зла и искушеній. . . .

„Представь, что это ты самъ возводишь зданіе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалъ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вотъ того самаго ребеночка, бившаго себя кулаченкомъ въ грудь, и на неотмищенныхъ слезахъ его основать это зданіе, — согласился ли бы ты быть архитекторомъ на этихъ условіяхъ?“ Такъ спрашивалъ самого себя Достоевскій и содрогался въ мукахъ, не понимая, не принимая жестокаго міра. . . .

Но уже не на слезахъ одного замученнаго дитяти, а на рѣ-  
кахъ слезъ и крови основывается и сооружается „зданіе судьбы  
человѣческой“, зданіе судьбы русской. Окровавленными руками  
выковываются онѣ сейчасъ тамъ, въ опустѣвшихъ простран-  
ствахъ . . . Годы и годы мы живемъ ненавистью, злобою, жаждою  
мести, жаждой побѣды и наказанія. Одни убиваютъ. Другіе умира-  
ютъ. Всѣ ненавидятъ. И даже дерзаютъ называть свою нена-  
висть — „святой,“ дерзаютъ говорить по старому — о „сладости  
отчизну ненавидѣть“ . . . Всѣ убиваютъ: кто словомъ, кто взгля-  
домъ, кто мечомъ. Любви нѣтъ ни въ комъ. И нѣтъ исхода, разъ  
нѣтъ жажды искупленія. — Мы страдаемъ. Мы даже плачемъ,  
горько и неутѣшно. Но слезы наши все еще — слезы обижен-  
наго ребенка, а не слезы мужа, узрѣвшаго „смерть вторую“ ли-  
цомъ къ лицу. „Высокою“ цѣлью мы самоувѣренно готовы оправ-  
дывать самыя низменныя наши средства, — слишкомъ твердо мы  
еще надѣемся, чтобы гордость растаяла вполнѣ. Гибель „географи-  
ческаго отечества“ заслоняетъ отъ насъ ужасъ умиранія человѣ-  
ческихъ душъ . . . Не то страшно, что люди умираютъ, а то, что  
они перестаютъ быть людьми. И отъ этого ужаса и страха вы-  
ходъ есть только одинъ. Не о „Великой Россіи“ только должно  
горѣть наше сердце, но, прежде всего и первѣе всего, объ очище-  
ніи помраченной русской души. Не въ горделивомъ загадываніи  
впередъ, не въ пророчествахъ, не въ наслажденіи разливомъ  
національныхъ силъ, не въ созерцаніи сверхчеловѣческой мощи  
и власти народной стихіи, а въ срастворенномъ со слезами пока-  
яніи и въ горячей молитвѣ, въ благодатномъ прощеніи Свыше, об-  
рѣтемъ мы право и вѣрить, и надѣяться, и пророчествовать, и звать.

София, 1921. III. 31.

*Георгій В. Флоровскій.*